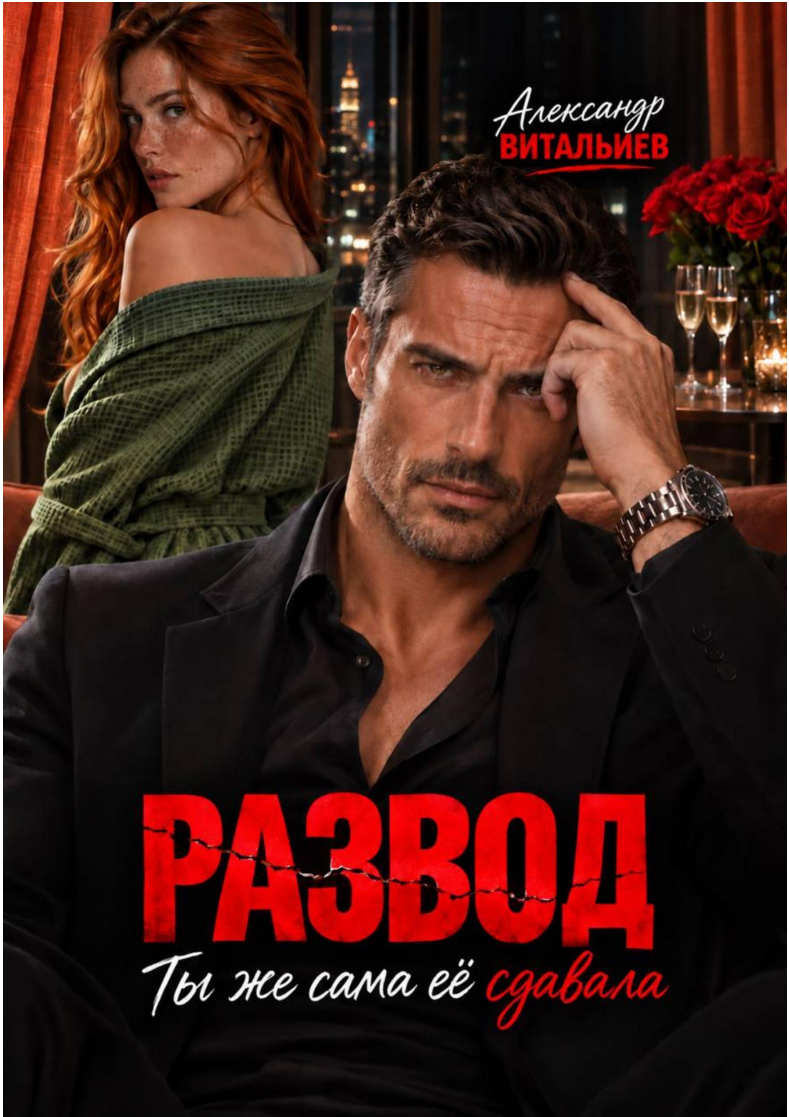

Александр
ВИТАЛЬЕВ
РАЗВОД
Ты же сама её сдавала

Александр Витальиев

Развод. Ты же сама её сдавала

https://litres.ru/74938252
SelfPub; 2026

Аннотация

– Надь, ну что ты устраиваешь? Ты же сама её сдавала. Вот и считай, что сдавала мне.

В день серебряной свадьбы Надежда узнаёт, что три года платила за чужую любовь. Квартиранты на Нагорной, за которых она вносила коммуналку и вела таблицу, выдуманы. Дверь открывает рыжая женщина в халате её мужа.

За двадцать пять лет брака Надя научилась считать каждую копейку, но не заметила главного. Свекровь придумала «порядочных квартирантов», сын молчал, а Глеб просит не позорить его при людях.

Вечером она произносит всего один тост и уходит с тортом, который сама пекла.

Теперь у неё развод, пекарня, которую муж зовёт «игрушкой», и дочь, злая на мать за слепоту. Мужу нужно, чтобы она перетерпела. Ей нужно вернуть себе имя.

А торт достаётся соседу снизу, чей потолок затопили несуществующие квартиранты.

Сможет ли женщина, всю жизнь оплачивавшая чужой обман, наконец платить за свою жизнь сама?

Содержание

Глава 1. Считай, что сдавала мне 4
Глава 2. Не позорь нас при людях 18
Глава 3. Сдавала мужу 31
Глава 4. Каждый Новый год 42
Конец ознакомительного фрагмента. 46

Александр Витальиев
Развод. Ты же сама её сдавала

Глава 1. Считай, что сдавала мне

– Надь, ну что ты устраиваешь? Это просто квартира. Ты же сама её сдавала, сама квитанции оплачивала, вот и считай, что сдавала мне, – говорит Глеб устало и раздражённо, как человеку, который позвонил не вовремя, и одной рукой уже нащупывает в кармане ключи от машины.

Эту двушку на Нагорной, в двадцатой квартире, Глеб три года назад купил «для сдачи», и все три года я платила за неё коммуналку со своей карты и вела таблицу аренды, где каждый месяц стояли тридцать тысяч от квартирантов, которых я ни разу не видела. Теперь их, оказывается, никогда не было: дверь мне открыла молодая женщина в халате моего мужа, а в шесть вечера у нас серебряная свадьба, двадцать пять лет вместе, и шестьдесят четыре гостя уже заказали себе платья и рубашки.

Я стою на площадке пятого этажа с мокрым полотенцем Марка в руках и смотрю на рабочую куртку с логотипом сервиса, на седой ёжик, на привычно тяжёлые плечи, и мне ка-

жется удивительным, что от него пахнет тем же ветивером, что и сегодня утром. В распахнутой двери квартиры двадцать, в тёмно-зелёном вафельном халате, придерживая ворот у горла, застыла рыжая женщина, а ниже, на ступеньках, остановился Марк с пустым пластиковым тазом, из которого ещё капает на бетон. Где-то внизу лает собака, и этот лай слышен отчётливее всего остального. Я зачем-то складываю полотенце вчетверо, потом вспоминаю, что оно чужое и мокрое, и просто держу его, потому что отдать некому и положить некуда.

***

За полтора часа до этого я ещё переживаю, что у марципановой Нади на верхнем ярусе слишком тонкие ножки.

Торт стоит на металлическом столе в цеху, трёхъярусный медовик с солёной карамелью, и я в сотый раз обхожу его кругом с зубочисткой в руке, хотя поправлять уже нечего. Шоколадная «25» на макушке вышла ровной, а рядом стоят две фигурки, которые я лепила сама: я в фартуке, с венчиком, и Глеб с гаечным ключом. Ключ придумала Варя, она сказала по телефону, что папа без ключа даже в ресторан не заходит. Марципановый Глеб, пожалуй, получился симпатичнее настоящего, потому что не имеет привычки смотреть на часы посреди разговора.

– Надюш, ты на неё уже полчаса смотришь, а она от этого не вырастет. – Зульфия выходит из-за тестомеса, вытирая руки о косынку, и по глазам видно, что она заметила всё сра-

зу: и остывший чай, и то, что я стою на одной ноге, чтобы вторая отдохнула. – Ты с пяти утра на ногах, а во рту у тебя ничего, кроме карамели с ложки. Думала, я не вижу?

– Зуль, это технический контроль. Если солёная карамель не солёная, весь торт можно выбрасывать, – отвечаю я, и сама слышу, что голос у меня выходит беззаботный и немного ненастоящий.

– Ай, контроль! Торт весом с первоклассника, а хозяйка его кормит одной карамелью. Садись, кызым, в духовке запеканка, я для себя ставила, но на двоих хватит. – Она трогает языком золотой зуб, как всегда, когда сердится, и тычет пальцем в сторону подсобки.

Я смеюсь и обещаю съесть всё до крошки, вот только закончу шоколадную нитку по краю. Мне хочется управиться к половине четвёртого, чтобы успеть домой и надеть синее платье, которое я ни разу не показывала Глебу. Серебряная свадьба была во вторник, мы тогда просто выпили чаю, потому что у него был вечер в сервисе, а сегодня в «Старом откосе» нас ждут шестьдесят четыре человека, мама приехала из Дзержинска, Варя прилетела вчера, и всё идёт как надо.

В зале звякает колокольчик, и слышно, как Поля отсчитывает сдачу. Я выглядываю из цеха и вижу, как Ефим Львович, в шляпе и с тростью, торжественно принимает свою половинку бородинского, завёрнутую в бумагу.

– Надежда Сергеевна, поздравляю, мне Полина всё рассказала. Двадцать пять лет это серьёзный срок: у нас на вер-

фи за такой давали медаль и путёвку в Крым, – говорит он, приподнимая шляпу. – Надеюсь, супруг достоин вашей выпечки.

– Спасибо, Ефим Львович. Он старается, но с выпечкой я пока справляюсь лучше, – отвечаю я, и колокольчик звякает снова.

Телефон начинает дрожать на столе в 13:45. Незнакомый городской номер, и я по привычке беру, потому что в пекарне это означает либо поставщика, либо заказ.

– Женщина, это собственница двадцатой на Нагорной? – Голос хриплый и очень громкий, будто она кричит через ведро. – Диспетчер «Нагорного квартала», Галина Фёдоровна. У вас там с потолка у соседа снизу льёт, аварийка стояк перекрыла, а ваши жильцы дверь не открывают! Вы как плательщик по лицевому счёту должны приехать, иначе вскрывать будем!

Смысл доходит не сразу, потому что в голове у меня всё идёт в привычном порядке: Сазоновы, мальчик трёх лет, шланг на стиральной машине, который я просила Глеба проверить ещё летом. Потоп, надо же, и именно сегодня.

– Да, я плательщик, я сейчас приеду. Вы им звонили?

– Звонили, никто не берёт. Там внизу мужчина стоит, злой как чёрт, ему кухню залило. Приезжайте быстрее, женщина.

Я набираю Глеба, но он не берёт. Тогда я звоню Тамаре Ильиничне, потому что телефон Оксаны записан только у неё, а у меня никогда не возникало повода его запрашивать.

– Наденька? – Свекровь снимает трубку почти сразу, и в её «Наденька» слышится то, чего там обычно нет: торопливость, словно она ждала звонка и боялась его. – Ох, господи, что стряслось? Ты же торт доделываешь, у тебя руки заняты.

– На Нагорной протекло, в двадцатой. Соседи снизу залиты, а Сазоновы не открывают. Дайте, пожалуйста, телефон Оксаны, я сама им позвоню.

– Не езди никуда, слышишь? – Она перебивает меня так резко, что я отнимаю трубку от уха. – У тебя торт, у тебя вечером праздник, зачем тебе эти квартиранты! Я сама Оксаночке позвоню, сама всё узнаю, и Глебушке скажу, он съездит. Ты, главное, не нервничай, Наденька, и не езди, прошу тебя!

Она отключается первой. За двадцать пять лет Тамара Ильинична ни разу ни о чём меня не просила, а теперь просит, и голос у неё дрожит так, будто она боится не договорить. Это первая заноза, пока просто странность, как камешек в хлебе, на который наткнёшься зубом и тут же забудешь. Я накидываю куртку прямо на рабочий фартук, не развязывая его, и говорю Зульфии, что вернусь через час, а торт пусть стоит, я сама уложу.

***

Во дворе на Нагорной, четырнадцать, стоит оранжевая «Газель» аварийки, и сантехник в жилете сматывает шланг. Он представляется Рустамом и говорит, что стояк перекрыт в подвале с двух часов, воды больше не будет, а что творится

наверху это вопрос к хозяевам.

– Там сосед с четвёртого вас ждёт, не обижайтесь на него. Человек нормальный, но сейчас, сами понимаете, – добавляет он и кивает на подъезд.

– Не обижусь. Мне самой было бы стыдно, если бы меня так залили, – отвечаю я.

Дверь шестнадцатой открыта, и в проёме стоит высокий широкий мужчина в промокшей футболке, мокрый по локти, с короткой седой бородой и таким лицом, что я невольно останавливаюсь. В глубине квартиры надрывается собака.

– Вы собственница? Хозяйка двадцатой? – спрашивает он вместо приветствия.

– Да, то есть я плачу за неё. Я приехала, как только позвонили. Простите, пожалуйста, я не знаю, что там случилось, я сейчас всё…

– Вы мне тут не извиняйтесь, хозяйка, вы мне лучше скажите, кто будет платить за потолок, за ламинат и за мою собаку, которая теперь из ванной выходить не хочет! А?! – Он держит таз над головой, вода течёт ему в рукав, и кричит он почему-то не на меня, а на светильник в коридоре, из которого мерно, как в плохой шутке, капает на пол. – Полтора часа сидел с тазом, как дурак! Люди сдают квартиры, в глаза своих жильцов не видят, а у кого-то на кухне потом висит пузырь с водой! Вы понимаете, что он у меня сейчас на голову упадёт?

– Понимаю, – говорю я и сама удивляюсь, что не обижа-

юсь. Я просто снимаю куртку и развязываю фартук. – Вы только скажите, что делать. Таз у вас один?

Он замолкает: ждал, наверное, оправданий или слёз, а получил вопрос про таз. Я кладу куртку и фартук на батарею в коридоре, ключи от пекарни в кармане глухо стукаются о чугун, и иду на кухню, где под натяжным потолком висит огромный прозрачный пузырь. Его тяжесть вытянула поверхность почти до верхних шкафов, и это выглядит так, будто на кухне кто-то повесил гигантскую медузу.

– Надо слить, пока не лопнуло. Только не ножом, потом всё придётся менять целиком. Лучше через отверстие от светильника, в самом низком месте, а струю направить полотенцем в таз. Стул есть?

– Вы что, натяжные потолки сливали? – Он смотрит на меня уже без ярости, но с подозрением.

– Я пекарь, у меня каждый день что-то льётся. Давайте таз.

Мы работаем минут двадцать. Он держит стул, я подставляю таз, вода бежит тугой струёй, и Марк ругается сквозь зубы на тех, кто придумал такие потолки. Я собираю тряпками воду с ламината, выжимаю в ведро, выношу в ванную. Там заперт спаниель, рыже-белый, очень старый, с репьями в ушах, и поначалу он смотрит на меня с недоверием, но, получив кусок сухаря из моего кармана, укладывается мордой на мою туфлю и вздыхает так, будто это ему пришлось полтора часа ждать, пока все закончат.

– Не давайте ему ничего, он у меня уверен, что колбаса

растёт в холодильнике сама, – говорит Марк из кухни другим голосом, глухим, без крика. – Простите, что я на вас. Вы тут, наверное, ни при чём. То есть при чём, раз собственница, но… гм. Давайте не будем сейчас выяснять, при чём.

– Давайте не будем. Дайте мне, пожалуйста, ещё одну тряпку, эта уже ничего не берёт.

Он приносит старую футболку с выцветшей надписью про рыбалку, и я вытираю ею плинтус. Мне стыдно так, как не было давно, по-детски, словно я разбила чужую вазу, хотя, кажется, виноват кто-то другой, просто пока непонятно кто.

– Слушайте, а вы чего такая спокойная? Квартиранты у вас что, пропали? – спрашивает Марк, вытирая руки, и хмурится.

– Не знаю, мне никто не отвечает. Они работают посменно, у них мальчик трёх лет, мы почти не пересекались. Их нашла свекровь, через знакомых, и я даже не уверена, что помню, как выглядит Оксана.

Он молчит, и молчит как-то неодобрительно, хотя не говорит ни слова. Потом бросает полотенце на стул и кивает на дверь.

– Тогда пойдёмте наверх. Позвоню, постучу, пусть откроют. Свет у них по вечерам виден, и шторы такие терракотовые, красивые. Вы выбирали?

– Я, – отвечаю я и вдруг ловлю себя на желании улыбнуться. – Сама окна мерила.

Мы поднимаемся пешком. Он идёт впереди с пустым та-

зом, а я несу его мокрое полотенце, которое забыла оставить в квартире. На пятом этаже он трижды жмёт на звонок, потом колотит кулаком в железную дверь. Коврик у порога чистый, с надписью «Добро пожаловать», и я думаю, что Оксана, должно быть, очень хозяйственная женщина.

За дверью слышны шаги, пауза, потом щёлкает замок. Открывает молодая женщина с мокрыми рыжими волосами, закрученными в полотенце, в тёмно-зелёном вафельном халате. Я вижу веснушки, тонкие запястья с обкусанными ногтями, и только потом, ниже, на левой стороне груди, две золотые буквы: «Г.К.».

Я знаю эти буквы. Я сама заказывала вышивку в ателье и два дня выбирала шрифт для подарка к Новому году. В этом халате Глеб раз пять завтракал на нашей кухне, пока в марте не сообщил, что забыл его в бане у Ромки.

– Ой… вы… вы же Надежда, да? – говорит женщина, прижимает ворот к горлу и пятится в прихожую, наступая босыми ногами на мокрое полотенце, которое сама, видимо, бросила у порога.

За её плечом, в комнате, висят терракотовые льняные шторы. Мои шторы, ровные, выглаженные, в тёплом полуденном свете. На коврике в прихожей стоят мужские тапки сорок пятого размера, и этот размер я знаю как собственный, потому что каждый ноябрь покупаю их Глебу.

– Вы кто? Вы тут живёте? – спрашивает Марк, глядя то на неё, то на меня, и таз в его руке медленно опускается.

– Я… да. То есть я квартирантка. Только… – Она сглатывает и переводит на меня огромные испуганные глаза. – Шланг у стиральной машины лопнул, я была в душе, играла музыка, я не слышала. Глеб сказал, что вы…

Она обрывает себя и закрывает рот ладонью. Квартирантка, думаю я. Сазоновы с мальчиком трёх лет. Мужчина сорок пятого размера, который носит халат с вышивкой, купленный на мои новогодние деньги.

– Надежда, я понимаю, как это выглядит. – У неё дрожит нижняя губа, и она достаёт из кармана халата телефон, нажимает на экран с первого раза, словно набирала этот номер сто тысяч раз. – Подождите, пожалуйста, я ему позвоню. – И говорит так, что слышно всей площадке: – Глеб, приезжай. Тут… она тут. Нет, не по телефону. Приезжай прямо сейчас.

В голове у меня происходит что-то очень простое и тихое, как в цеху, когда выключают тестомес и только тогда слышно, насколько до этого было шумно. Никаких квартирантов не было. Не было Игоря и Оксаны, не было мальчика, не было ни одного десятого числа, когда я по-настоящему получала что-то от чужих людей. Были тридцать семь конвертов от мужа, и я вклеивала их в таблицу, как марки в альбом.

Я не кричу, потому что не знаю, с какого конца за это браться. Вместо этого я говорю тихо, почти по-деловому:

– Можно мне в ванную? Я хочу посмотреть шланг.

– Конечно, – шепчет она, и в глазах у неё стоят слёзы. – Только там не очень убрано.

Ванная узкая, в бежевой плитке, на полу по щиколотку остатки воды. Прозрачный шланг с обрывом у самого штуцера лежит поперёк, как мёртвая змея, на полке мужская бритва в стаканчике. Я достаю телефон, фотографирую счётчики горячей и холодной воды и переписываю цифры в заметки, как делала каждый месяц, потому что квитанции приходят мне на почту. Рука делает это сама, будто я всё ещё нормальная хозяйка квартиры, которой нужно сдать показания до двадцать пятого числа.

Когда я поднимаю голову, в дверях стоит Марк и смотрит на меня иначе: мне кажется, он видит уже не хозяйку, а просто человека, который стоит в чужой воде и записывает цифры, потому что всё остальное слишком большое, чтобы взять в руки.

– Надежда Сергеевна, – негромко произносит он, и я понимаю, что впервые слышу своё имя-отчество от него. – Вам бы присесть.

– Нет, спасибо, я ещё не закончила. Скажите, вы ведь понимаете, что я об этом ничего не знала?

– Понимаю. Я видел ваше лицо, когда она открыла дверь. Такое не сыграешь.

На кухне плачет женщина, закрыв лицо руками, на табурете, а на столе остывает чай в чашке с вишенками. Я не подхожу и не подаю воду, хотя в любой другой день сделала бы это для любого плачущего человека. Я смотрю на подоконник, где у самой рамы остался бурый след в форме утюжьего

носика. Сентябрь двадцать второго года: я стою на табуретке, отпариваю эти шторы, Глеб подаёт прищепки, и утюг лежит на подоконнике на секунду дольше, чем нужно. Тогда я расстроилась, а он засмеялся и сказал, что у квартиры теперь будет история.

История, вот она.

В 14:55 внизу хлопает подъездная дверь, и по лестнице быстро, почти бегом, поднимаются шаги, которые я узнала бы среди тысячи других: он всегда перешагивает через ступеньку и всегда звякает ключами, которые держит в правой руке. Марк слышит тоже и встаёт ближе к двери, как человек, решивший, что без него теперь не обойдутся.

Глеб появляется на площадке в рабочей куртке, быстрый, деловитый, с красным от подъёма лицом. Сначала он протягивает руку Марку, как на совещании.

– Добрый день. Корнеев, я собственник. Ущерб посчитаем, не кипятитесь, возместим, у меня хороший юрист, решим без суда. – Он говорит мягко, на выдохе, но у Марка дёргается желвак.

Потом переводит взгляд на женщину в дверях и негромко, как говорят с ребёнком, у которого что-то разбилось, произносит:

– Ксюша, иди в квартиру.

Так я узнаю её имя. Она не идёт, только крепче прижимает ворот халата. Глебу неловко, но так, как мужчине, чья машина заглохла посреди людной улицы. Он поворачивает-

ся ко мне, и я снова оказываюсь на площадке с мокрым полотенцем в руках, откуда начала рассказывать, и слышу всё то же: что это просто квартира, что я сама её сдавала.

– Кто такие Сазоновы? – спрашиваю я.

– Никто, Надь. Мамина фантазия. – Он трёт переносицу и косится на Марка. – Давай не здесь.

– Нет, давай именно здесь. Мне просто нужно понять, кого я три года называла квартирантами.

– Слушайте, – вмешивается Марк, и я оборачиваюсь, потому что не ждала, что он заговорит. Он ставит таз на пол и говорит коротко и зло, очень ровным голосом. – Мне, честно, всё равно, кто тут с кем живёт. Но потолок у меня один, пол один и собака одна, а отвечать за них будет собственник. Вы собственник?

– Я. Я же сказал, возмещу.

– Вот и возмещайте, письменно, с актом, через управляющую компанию, а не «потом поговорим». А разговаривать с женщиной, которой три года врали, будете подальше от моих ушей.

– А вам-то какое дело? – вскидывается Глеб, и на секунду проступает тот человек, который кричит на поставщиков и никогда не кричит на меня.

– Мне до вас дела никакого. Мне собаку из ванной вызволять надо. – Марк берёт таз и идёт вниз, не оглядываясь.

Лицо Глеба снова становится мягким, как будто он переключил передачу. Он говорит, что вечером юбилей, что Ва-

ря прилетела только вчера, что гости, что сейчас не время, а поговорить мы сможем дома, как взрослые люди.

Я отдаю кому-то полотенце, не помню кому, и спускаюсь, не дослушав. Мимо открытой двери шестнадцатой иду, не вспомнив про куртку и фартук на батарее, потому что в эту минуту во мне нет места для вещей. На улице тихо, тёплый жёлтый сентябрь, тополя шелестят над лавками, и машина послушно пищит, открываясь. Я успеваю сесть и взяться за руль, прежде чем слышу шаги.

– Надь, подожди. – Он запыхался, ладонь его ложится на дверцу, как всю жизнь ложилась, когда я садилась за руль в дождь, и ключи у него в кулаке звякают о металл. – В шесть в «Старом откосе», Надь, там Варя, там твоя мама, там шестьдесят четыре человека, – говорит Глеб, придерживая дверцу моей машины. – Ты же не будешь портить людям праздник из-за какой-то квартиры?

Глава 2. Не позорь нас при людях

В зеркале заднего вида вплотную ко мне идёт чёрный «Прадо», и я ловлю себя на том, что не прибавляю газу и не сбрасываю скорость, а держу ровно сорок, как на экзамене. Глеб едет, как конвой: не обгоняет, не отстаёт, и по тому, как аккуратно он включает поворотники, я понимаю, что он репетирует. Он всегда репетирует трудные разговоры в машине, и раньше мне это казалось милым.

На пассажирском сиденье лежит телефон с фотографиями счётчиков, горячая вода сорок один, холодная девяносто восемь, и я с ужасом замечаю, что мысленно вношу эти цифры в таблицу «Нагорная, 14: аренда». Графа «Получено», графа «ЖКУ», графа «Примечание». Пальцы у меня вцепились в руль до белизны.

Тамара Ильинична уже у нас: Глеб позвонил ей из машины, я понимаю это по тому, как открывается дверь раньше, чем я успеваю достать ключ, и по запаху лавандовой воды в прихожей. Из ванной раздаётся Варин голос, весёлый и звонкий, и шум фена, а свекровь выглядывает оттуда с расчёской в руке и в своей янтарной броши, надетой, как всегда, поверх домашней блузки.

– Мам, ты вернулась! – кричит Варя, не оборачиваясь, потому что Тамара Ильинична держит её голову, как цветок на стебле. – Баб Тома делает мне такую укладку, что я сама себя

не узнаю! В Питере опять дождь уже неделю, у нас в лаборатории вода из вытяжки капает, а у вас лето, капец, как будто в другую страну прилетела!

– Не вертись, Варюш, а то бабушка тебе уши подпалит, – отвечаю я, и голос слушается, как выученная собака.

Я закрываю дверь в ванную и иду на кухню, где пахнет утренним кофе и ничего не изменилось с девяти часов: на подоконнике фикус, на столе вазочка с вишнёвым вареньем, магнит с Эйфелевой башней на холодильнике. Через полминуты там же оказывается Тамара Ильинична, тихо прикрыв за собой дверь, и мы стоим друг напротив друга, как две женщины у чужой плиты.

– Сазоновы, значит, – говорю я шёпотом, чтобы не услышала Варя. – С мальчиком трёх лет.

Она поправляет брошь, потом ворот, потом снова брошь и смотрит на меня с таким выражением, каким смотрят в больнице на родственников: заранее сочувственно и заранее оправдываясь.

– Наденька, не сегодня, – просит она так же тихо, как и я. – Сегодня твой день. Двадцать пять лет, шестьдесят четыре человека, я тебя прошу, ради Вари, ради матери твоей, она с утра в парикмахерской была. Всё потом, всё по-человечески разберём. Ох, господи, ну что у тебя с лицом?

– Ничего, Тамара Ильинична. Всё в порядке. – И я слышу, как это «всё в порядке» звучит, словно кто-то поставил в цеху закисшее тесто и делает вид, что оно подошло.

Я иду в спальню, где всё лежит на своих местах: его часы на тумбочке, моя книга под лампой, подушки, которые я сама утром взбивала. Синее платье висит на дверце шкафа, в чехле, я купила его в августе на Покровке и рассчитывала, что Глеб скажет: «Ого». Можно лечь поперёк этой кровати и не вставать до понедельника, а можно пойти и посмотреть всем в глаза.

Я решаю идти. Не ради мира, как раньше, а ради того, чтобы увидеть. Надеваю платье, застёгиваю молнию, и руки не дрожат, а кольцо на безымянном пальце сидит на месте.

***

В пять приходит сообщение от Зульфии: «Даня торт забрал. Руки трясутся, как у вора. Что у вас стряслось, Надюш?» Глеб ещё утром попросил сына отвезти торт в ресторан, но я дважды перечитываю это «как у вора», прежде чем пишу: «Всё потом, Зуль», и убираю телефон в клатч.

Глеб везёт нас на «Прадо», моя «Крета» остаётся во дворе. Тамара Ильинична сидит впереди, прямо, как на приёме у министра, а Варя на заднем диване прижимается ко мне плечом и рассказывает про соседку по комнате, которая поёт в душе только арии из «Травиаты» и всегда сбивается на третьей строчке. Глеб смеётся и вставляет шутки, нормальным голосом, тёплым, привычным, и это страшнее всего остального.

– Мам, ты чего молчишь? – тормошит меня Варя. – Ты нервничаешь из-за тоста, да? Ты главное не плачь, а то у ме-

ня тушь потечёт.

– Не буду плакать, Варюш. Мне просто нужно выпить воды.

«Старый откос» встречает нас видом на Волгу, которая на закате становится медной и очень широкой. В зале «Купеческий» белые розы, карточки с именами, а в углу стоит наша семейная фотография двухтысячного года, в рамке, под стеклом, где мы с Глебом на ступеньках ЗАГСа, и Даня годовалый у него на руках.

Мама с Ларисой уже здесь. Мама в новом бежевом жакете, маленькая, седая, с косой вокруг головы, поправляет слуховой аппарат, а Лариса в вишнёвом платье так громко смеётся над чем-то у входа, что оборачивается половина зала. Увидев меня, обе замолкают, потому что у меня, наверное, всё написано на лице, но говорить при Глебе и детях нельзя.

– Надька, ты чего такая бледная? – шепчет Лариса, обнимая меня, и от неё пахнет вечными сладкими духами. – Ой, да не отвечай, вижу, что случилось. Я тут, никуда не денусь.

– Потом, Лар. Побудь рядом, пожалуйста.

Шестьдесят четыре гостя рассаживаются под бархатный голос ведущего Эдика в бабочке. Среди мастеров из сервисов, соседей и родственников я нахожу взглядом Романа Тихонова, лысого и громкого друга Глеба, у которого, по словам мужа, была баня. Рома ловит мой взгляд, перестаёт жевать и утыкается в тарелку. Так я понимаю окончательно, что никакой бани у Ромки в марте не было, а этот человек два-

дцать лет ел на моих днях рождения медовик и знал всё.

Первым берёт слово Глеб. Он встаёт с бокалом, поправляет манжету, и зал затихает, потому что он умеет говорить так, что люди слушают.

– Дорогие мои! Двадцать пять лет назад я был молодой, глупый и без гроша в кармане, а передо мной стояла девчонка, которая могла сделать торт из трёх ингредиентов, – начинает он, и гости уже улыбаются. – Она до сих пор, между прочим, делает торты, но теперь кормит полгорода. Моя Надюша, мой тыл, моя совесть и мой главный дегустатор. Если у меня что-то получилось в жизни, то только потому, что дома меня всегда ждали тёплый хлеб и тишина.

Раздаются аплодисменты. Мама достаёт платок и вытирает глаза, Варя гордо смотрит на отца, и я вижу, что всё это очень красиво и совершенно правдиво, только вот одно слово в этой правде он не договаривает. Я поднимаю бокал с минеральной водой, и глаза сами находят Даню. Он сидит рядом с отцовским стулом в праздничной рубашке, хлопает вместе со всеми, но не улыбается, а крутит вилку в пальцах и смотрит в скатерть. Он не удивлён. Я это фиксирую, почти как цифры в таблице: сын не удивлён ни одному слову о тыле и совести и не поднимает глаз ни на меня, ни на отца. Что это значит, я пока не понимаю и откладываю на потом.

Эдик объявляет, что сейчас слово юбилярше. Глеб наклоняется к моему виску и, не переставая улыбаться гостям так, будто рассказывает что-то нежное, шепчет:

– Не позорь нас при людях, Надь. Потом поговорим, дома, по-человечески.

Я иду к микрофону через весь зал, и каблуки стучат по паркету так, будто это стучит чужая женщина. Шестьдесят четыре лица ждут, что юбилярша расплачется от счастья. Мама держит платок у рта. Лариса сидит боком, готовая вскочить. Тамара Ильинична не мигает. Варя улыбается мне, подбадривая, и поднимает вверх большие пальцы обеих рук.

– Дорогие мои, спасибо, что пришли, правда. Глеб только что попросил меня не позорить нас при людях, поэтому я скажу коротко и только то, что знаю точно. – Голос почему-то совсем не дрожит, и от этого мне страшнее, чем если бы дрожал. – Двадцать пять лет я пекла торты на наши годовщины, и этот тоже пекла сама, до двух ночи. А сегодня днём я узнала, что три года сдавала нашу квартиру не квартирантам, а собственному мужу. Так что пейте, ешьте, вы ни в чём не виноваты, а торт я заберу. Он мой.

Сначала не слышно ничего, даже вилок. Потом где-то в мужской части зала, где сидят мастера из сервисов, кто-то хмыкает, коротко, нервно, и тут же обрывает себя. Мама закрывает рот ладонью целиком, и глаза у неё становятся круглые, как у ребёнка. Тамара Ильинична сидит прямо и не шевелится, только янтарь на воротнике поднимается и опускается от дыхания. А Варя перестаёт улыбаться и тихо, одними губами, спрашивает:

– Мам?..

Глеб поднимается со своего места. Лицо у него остаётся спокойным, только на скулах проступают два красных пятна, и он говорит в зал, с той самой улыбкой, которой гасят пожары:

– Гхм… Надя у нас сегодня с юмором, друзья. Это у нас такая семейная шутка, мы с ней вечно друг друга разыгрываем. Эдик, давай что-нибудь музыкальное, пожалуйста!

Но я уже кладу микрофон на стойку, и он тихо стукает о дерево. Я иду не к своему столу, а к выходу, мимо официанток, мимо стола с тортом, который Даня привёз днём и который теперь возвышается над закусками тремя ярусами, с шоколадной «25» на макушке. Рядом стоит официантка с косой и бейджем «Светлана», и по лицу видно, что она всё слышала и не знает, куда девать руки.

– Света, помогите мне, пожалуйста, упаковать торт, – говорю я. – Коробка пекарни там, на служебном столе. Нижний и средний ярусы возьму, а верхний оставлю здесь.

– Конечно, Надежда Сергеевна, – шепчет она, и мы вдвоём поднимаем тяжёлые коржи и укладываем их в картонную коробку с вывеской «Наденька». Верхний ярус с шоколадной «25» и двумя марципановыми фигурками, мной в фартуке и Глебом с гаечным ключом, я переношу на тарелку и ставлю прямо перед его пустым стулом, рядом с недопитым бокалом.

– Вам вызвать такси? Я быстро, у меня есть приложение, – предлагает Света в дверях, провожая меня по коридору с

коробкой, которую я сама не позволяю ей нести.

– Нет, спасибо. Я пройдусь.

На выходе я слышу за спиной голос Вари:

– Мам! Мам, подожди! – но к нему примешивается отцовский, низкий и спокойный, и я не оборачиваюсь, потому что если обернусь, останусь.

***

Верхневолжская набережная в девятом часу вечера золотая и совершенно равнодушная. Никто не смотрит на женщину в синем платье, которая цокает каблуками по брусчатке с огромной коробкой в руках. В коробке почти четыре килограмма, руки у меня то немеют, то горят, но я её не ставлю на землю, потому что это мой торт.

У Кремля я останавливаюсь и стягиваю с безымянной руки золотой ободок, который не снимала двадцать пять лет, даже когда рожала Варю, и ещё некоторое время смотрю на него в закатном свете. Клатч маленький, без кармана на молнии, и я боюсь, что оно упадёт на ходу, поэтому приоткрываю крышку коробки и кладу кольцо в узкую щель между бортиком и коржом. Потом закрываю и иду дальше, и тут же о нём забываю.

Телефон разрывается уже минут десять: Глеб, мама, Лариса, снова Глеб, Варя, Тамара Ильинична. Я смотрю на экран и отвечаю только Ларисе, потому что вдруг очень хочется услышать человека, который не будет ничего требовать.

– Я жива, Лар. Я с тортом. Не приезжай, пожалуйста, со

мной всё нормально.

– Надька, да я бы уже примчалась, но мама твоя тут чуть ли не в обмороке, я с ней сижу! Что случилось-то, я не поняла?! – Лариса кричит шёпотом, и слышно, как у неё звякает посуда.

– Потом, Лар. Правда, потом. Я позвоню.

Я выключаю звук и иду ещё минут сорок, пока ноги не начинают гореть. Во дворе на Белинского, сто десять, всё как всегда: детская площадка, лавки, тёмные окна девятого этажа. Я сажусь в свою «Крету», ставлю коробку на пассажирское сиденье, пристёгиваю её ремнём и некоторое время просто смотрю на панель.

В квартиру я не поднимусь. Это я понимаю так ясно, как понимают, что у теста кончилась расстойка: ничего не болит, просто время вышло. Там мои тапочки, моя книга и его часы на тумбочке, и всё это сейчас пахнет чужим. Пекарня через двор, всего сорок метров, там есть диван в подсобке. Я вылезаю с коробкой, подхожу к служебной двери, лезу в клатч и вдруг вспоминаю: ключи в кармане фартука. А фартук висит на батарее у Марка, на Нагорной.

Я сажусь на бордюр под фонарём с тортом на коленях и не могу понять, смеюсь я или плачу. Потом возвращаюсь в машину и трогаюсь: так, кажется, делают люди, когда ничего больше придумать не могут, едут туда, где остались их вещи.

***

Во двор на Нагорной, четырнадцать, я въезжаю в начале

одиннадцатого, и к этому времени там уже совсем тихо. Тополя шумят над крышей, лавки пустуют, только у подъезда сидит большой человек с поводком в руке и смотрит в темноту. Рядом, уткнувшись носом в куст, возится старый спаниель с репьями.

Марк узнаёт «Крету» раньше, чем меня, встаёт и идёт к машине, и я вижу в свете фонаря его бороду, очки в нагрудном кармане и совсем другое, спокойное, усталое лицо. Он останавливается в паре шагов от дверцы, видит синее платье, коробку на сиденье, мои босые ступни и ничего не спрашивает.

– Добрый вечер, Надежда Сергеевна. Я вас, признаться, не ждал, – говорит он негромко, глядя куда-то поверх крыши. – Но, раз вы приехали, у меня для вас кое-что есть. Подождите минуту.

Он уходит в подъезд, и я слышу, как внутри хлопает дверь лифта. Возвращается через минуту с моим фартуком, аккуратно сложенным, с ключами в кармане, и протягивает его так, будто возвращает документ.

– Я его на батарее нашёл уже после вашего ухода. Простите, что не догнал, вы так быстро спустились. Куртка там же, она ещё мокрая. Если нужна, схожу.

– Не нужна, пусть сохнет. Спасибо вам. – Я беру фартук и прижимаю к груди, а потом, вдруг очень чётко понимаю, что ничего у меня сейчас нет, кроме коробки. – Знаете, у меня к вам есть просьба. Вот торт. Это за потолок, больше у

меня сейчас ничего нет. Возьмите, пожалуйста, он хороший, медовик, я делала его три дня.

– Хозяйка, вы шутите? – Он трёт переносицу, и в голосе у него всё-таки пробивается прежняя ирония. – Я просил возместить ущерб, а не кормить меня до конца месяца. Это же вам для юбилея.

– Юбилей закончился. Раньше, чем я думала. Берите, Марк Анатольевич, иначе я его просто выброшу, а выбрасывать мне нельзя, рука не поднимется.

– Гм… Я не буду спрашивать, что у вас случилось, Надежда Сергеевна, по лицу и так видно, что ничего хорошего, – говорит Марк и принимает коробку обеими руками, будто в ней не торт, а стекло. – Но за руль я бы вас сейчас не пустил, даже будь вы трезвая как стекольщик. Давайте посидим десять минут, Шуруп всё равно раньше домой не пойдёт.

– Только половину отдайте соседям, – успеваю сказать я, пока он ведёт меня к лавке. – Хотя бы третьему этажу. Они, наверное, тоже слышали, как у вас шумело.

– Договорились. Это справедливо. Я один столько не съем, а Шуруп без меня сам до холодильника доберётся.

Мы сидим на лавке, и спаниель, уложив голову мне на босую ногу, тяжело вздыхает. Марк держит коробку на коленях и молчит, и в этом молчании нет ни вопроса, ни жалости: так сидят у чужого костра, не спрашивая, чьи это дрова.

Я поднимаю голову и смотрю на окна пятого этажа. В двадцатой квартире, за терракотовыми льняными шторами, го-

рит тёплый свет, и на шторах движется чья-то тень, потом пропадает. Это мои шторы, и теперь в их складках живёт чужая жизнь. Я отворачиваюсь первой.

Мы сидим ровно десять минут, Шуруп успевает обнюхать все три куста и одну урну, и ни разу за это время мне не хочется плакать. Потом я надеваю туфли, а Марк стоит у подъезда с коробкой, пока я завожу машину. Он не зовёт меня наверх и не говорит, что всё будет хорошо.

– Если вам когда-нибудь понадобится что-то тяжёлое перенести, звоните, – говорит он, наклонившись к опущенному стеклу, и чуть приподнимает коробку, будто показывает, как это делается. – Это единственное, что я умею делать бесплатно.

Я не нахожу, что ответить, и он поднимает свободную руку, когда я выезжаю со двора.

***

Подсобка пекарни пахнет закваской и тёплым деревом, и когда в половине двенадцатого я открываю дверь своим ключом, в нос ударяет запах, от которого в горле у меня наконец что-то размыкается. Я не включаю свет. Из зала видно, как на витрине тускло отражается фонарь, и всё стоит на своих местах: корзины, ценники, колокольчик над дверью. Я ложусь на старый продавленный диван в синем платье и накрываюсь фартуком, которого, конечно, мало.

В 00:30 в дверь громко стучат, и я вскакиваю, ударившись коленом о ножку стола. На пороге в свете фонаря стоит Ва-

ря, в вечернем платье, с бабушкиным палантином на плечах, тушь размазана до самых скул, а в руке она сжимает телефон так, что побелели пальцы. За её спиной отъезжает такси.

– Варюш… как ты меня нашла? – шепчу я.

– Я знала, где тебя искать, мам. Ты всегда сюда идёшь, когда… – Голос у неё срывается, и она заходит внутрь, вся мокрая от слёз, и сразу начинает говорить быстро, обрывисто, со злостью, которая вот-вот перейдёт в рёв. – Я досидела до конца, представляешь? Я сидела там, как дура, а папа ходил по залу и всем объяснял, что ты просто сорвалась, что у тебя нервы, что ты всё знала, а потом решила устроить сцену! Бабушка Тома кивала, Даня молчал, а я… блин, я даже ответить ничего не могла!

Она стоит посреди подсобки, и палантин сползает у неё с одного плеча. Я хочу обнять её, но она отстраняется, и я не настаиваю.

– Папа сказал гостям, что ты всё знала, – говорит Варя, не снимая с плеч бабушкин палантин. – Что ты сама её сдавала и всё про них знала. Мам… это правда?

Глава 3. Сдавала мужу

– Нет, Варя. Я не знала, – говорю я сразу, без паузы, потому что любая пауза сейчас прозвучит как «да». Я сижу на мешке с мукой напротив дочери, всё ещё в синем платье, с чужим, холодным от слёз лицом, и голос у меня неожиданно ровный, почти учительский. – Я узнала сегодня в два часа дня, когда мне открыла дверь женщина в халате, который я сама дарила твоему отцу. Клянусь тебе чем хочешь.

Варя смотрит на меня несколько секунд, и по тому, как у неё дёргается уголок рта, я вижу, что она спорит с собой. Потом она взрывается так, как взрывается молоко на плите, когда отвернёшься на минуту.

– Как можно три года не видеть?! Ты таблицу вела, мам! Ты каждую копейку записывала, и не видела?! – Варя кричит и одновременно плачет, размазывая тушь бабушкиным палантином, и я понимаю, что злится она не на отца, а на меня, потому что от меня всю жизнь ждала, что я всё знаю. – Ты же всегда всё знала! Где мои ключи, когда у меня экзамен, почему у меня температура, что у Дани на душе! А тут, блин, под носом у тебя, на Нагорной, три года, и ты… ты же сама туда ездила, шторы выбирала! Как?!

– Не знаю как, Варя! – Я слышу, что голос всё-таки срывается, и ничего с этим не могу поделать. Я вскакиваю с мешка, и мука поднимается облачком у ног. – Я не знаю! Может,

потому что мне не приходило в голову проверять человека, с которым я двадцать пять лет живу! Может, потому что я работала с пяти утра до девяти вечера, чтобы у тебя была эта твоя лаборатория и этот твой Питер! Да, не видела! Потому что верила! Это у нас теперь, выходит, самое стыдное?

Она замолкает с открытым ртом. Я стою посреди подсобки, дышу, как после бега, и вдруг замечаю, что у меня трясутся руки, а по щекам катятся слёзы, которых я не чувствовала. Мы смотрим друг на друга, две растрёпанные женщины в вечерних платьях среди мешков с мукой, и обеим одинаково стыдно и одинаково нечем дышать.

– Мам… – шепчет Варя и сама делает шаг ко мне, а потом утыкается лбом в моё плечо и начинает рыдать уже по-детски, с подвываниями, как не рыдала лет с двенадцати. – Прости. Прости, пожалуйста. Я не хотела так. Я просто… я так испугалась, понимаешь? Если ты не знала, то выходит, что вообще никто ничего не знает, и можно двадцать пять лет жить с человеком, и он…

– Тише. Тише, Варюш, – говорю я, гладя её по мокрой спине, по высокому хвосту, который она так и не расплела. – Я знаю. Мне тоже страшно. Иди сюда, садись.

Мы доходим до дивана, и я укладываю её, как маленькую, подкладываю под голову сложенный фартук, а сверху набрасываю палантин. Сама ложусь с краю, и Варя, всхлипывая, берёт мою руку и прижимает к щеке. Сама я накрываюсь рабочей курткой Зульфии со спинки стула, и засыпаем мы по-

чти одновременно, в третьем часу ночи.

***

В 4:50 я просыпаюсь сама, без будильника, потому что руки двадцать лет подряд встают раньше головы. Варя спит, подтянув колени, и палантин сполз на пол. Я поправляю его, умываюсь холодной водой в служебной раковине, смотрю в мутное зеркало на женщину с распухшими веками и в мятом синем платье и надеваю чистый фартук. В цеху прохладно и пахнет кисловатой ржаной свежестью, и от этого запаха мне впервые за сутки становится легче дышать.

Мука, вода, соль, и ладони сами находят тесто, как пальцы находят клавиши. Вдруг я вспоминаю, что вчера не покормила Фросю, и иду к полке, где она стоит в трёхлитровой банке с марлей под резинкой, как стоит с марта шестнадцатого года. Закваска живая и недовольная: поднялась до самого горлышка и пахнет крепче обычного, почти ругается.

– Ну что, старая? Обиделась? – говорю я вполголоса, снимая марлю. – Прости, у нас вчера вечером всё пошло наперекосяк. Я без тебя не справлюсь, ты же знаешь. Давай вместе, а?

Фрося, разумеется, молчит, но когда я добавляю ей воды и муки и размешиваю деревянной ложкой, по поверхности идёт крупная пузырчатая рябь, как смех. Я разговариваю с ней девять лет, и она единственная, кому можно сказать всё без последствий. Больше я ей сегодня ничего не говорю, просто накрываю марлей и ставлю обратно.

В шесть отпирается чёрный вход, и в цех входит Зульфия, в косынке, с сумкой через плечо, и на лице у неё нет вчерашнего сердитого выражения. Она уже всё знает: я вижу это по тому, как она замирает на пороге, и как не спрашивает ни о чём. Лариса, по-видимому, написала ей ночью. Зульфия молча бросает сумку, подходит и обнимает меня обеими руками, прямо с мукой на ладонях, и тут я понимаю, что всё утро держалась только на ржаном тесте.

– Ай, кызым, ай, ну тихо, – приговаривает она, покачивая меня, как ребёнка, и от неё пахнет ванилью и мылом. – Тесто крик не любит, а ты всю ночь кричала, я по глазам вижу. Садись, чайник поставлю. Хватит месить, всё равно сегодня комом будет, я сама.

– Зуль, у меня заказы на сегодня, бородинский на двадцать буханок…

– Всё будет, Надюш. Бородинский сделаю, заказы сделаю. А ты сядь. Я потом расскажу, как моя сестра мужа выгоняла, тоже весело было.

Я сажусь на табурет, пью чай, обжигая губы, и слушаю, как она гремит противнями и ворчит на тестомес, который опять заедает. Варя спит до девяти, и я иногда выглядываю в подсобку, проверяя, дышит ли она, как проверяла когда-то, когда ей было два года.

В десять часов в зале звякает колокольчик, и я узнаю по походке, что пришла Тамара Ильинична. Её трость с костяным набалдашником стучит по плитке мерно, как метроном,

и покупатели у прилавка невольно расступаются перед серебристым лакированным каре и янтарной брошью на воротнике. Поля за кассой замирает, и по её лицу видно, что она догадывается, кто это.

– Надежда Сергеевна, там… – шепчет Поля, выглядывая в цех.

– Я выйду, Поля. Обслуживай пока без меня, ладно?

Я не хочу скандала при людях. Выхожу в зал, беру Тамару Ильиничну под локоть, тихо говорю «пойдёмте», и мы идём в подсобку, где на диване сидит растрёпанная Варя. Увидев бабушку, она вскидывается, но я останавливаю её взглядом, и она сердито уходит в цех, прикрыв за собой дверь неплотно, так, что слышно каждое слово.

– Наденька, ну что ты, – начинает свекровь, оглядываясь, куда бы сесть, и в итоге остаётся стоять, опираясь на трость. – Столько шуму из-за пустяка. Глебушка сам не свой, звонил мне всю ночь, плакал почти. Ты бы хоть позвонила ему, нельзя же так, при людях…

– Тамара Ильинична, скажите мне прямо. Сазоновы кто?

Она закрывает рот, потом открывает снова и, к моему удивлению, не отводит взгляд. Её лицо, сухое и умное, делается совсем спокойным, как у человека, который давно приготовил ответ и только ждал, чтобы его спросили.

– Никто, – отвечает она. – Я их выдумала. В воскресенье, четвёртого сентября двадцать второго года, за обедом. Ты помнишь, мы ели утку с яблоками, и я сказала про племян-

ницу приятельницы. Чтобы ты туда не моталась, Наденька. Чтобы Глеб глупостей не наделал. Чтобы семья осталась.

– Вы сидели за нашим столом, ели мою утку и врали мне в лицо, – говорю я очень тихо, потому что от тишины выходит страшнее.

– Ох, господи, Наденька, ну что ты на меня так смотришь, будто я тебе враг? Я семью берегла. Мой Андрей Савельевич гулял, и я терпела, и Глебушку вырастила, и ничего, все живы, – Тамара Ильинична поправляет янтарную брошь на воротнике и говорит это так спокойно, будто советует, сколько класть соли в тесто. – Любой мужик гуляет. Умная жена не видит, а умная мать прикрывает. Ты перетерпи, как все, и всё образуется. Он же тебя не бросил. Деньги носил, домой приходил.

– Бабушка… – Дверь из цеха распахивается, и Варя стоит на пороге с красными глазами и лицом, которое я не видела у неё никогда. – Вы вообще слышите, что говорите? Вы три года смотрели, как мама платит за свет в чужой спальне, и вам было нормально?! Да вы… вы… – Она задыхается и произносит то, чего я от неё никогда не слышала: – Уйдите отсюда, баб Тома. Просто уйдите, а то я скажу такое, за что мне потом будет стыдно!

– Варя, – говорю я, и она замолкает. – Иди в цех, пожалуйста. Мы сами.

Она уходит, хлопнув дверью. Тамара Ильинична стоит, положив обе руки на набалдашник трости, и я впервые в

жизни вижу, что у неё чуть-чуть дрожит подбородок. Я не кричу. Я двадцать пять лет называла её на «вы» и привыкла к этому так же, как к фартуку, и сейчас это «вы» оказывается моим единственным оружием, потому что оно позволяет не повышать голоса.

– Тамара Ильинична, я прошу вас больше не приходить в пекарню. Ни в зал, ни в подсобку. Пока я сама не скажу. Это не месть, это просто просьба.

– Как же так, я хлеб покупаю…

– Хлеб купите в другом месте. В городе много пекарен.

Она долго смотрит на меня, а потом молча открывает сумочку, достаёт кошелёк и идёт обратно в зал. Я слышу, как она останавливается у прилавка, как звякает монетка о блюдце. Выглянув из подсобки, я вижу на кассе сто двадцать рублей, ровно за буханку, и свекровь, которая уже у двери, оборачивается и говорит негромко, чтобы слышала только я:

– Я за хлеб плачу, а не за прощение, Наденька. Не путай.

Колокольчик звякает, и она уходит по улице, прямая и стучащая тростью, как всегда, и со спины совсем не похожа на женщину, только что признавшуюся в том, что три года водила меня за нос.

***

В 12:30 на телефон приходит сообщение от Глеба: «Я на Казанском. Забирай что нужно. Вечером поговорим спокойно». Я читаю его в цеху, посреди противней, и несколько минут не могу решить, что чувствую. Спокойно. Забирай что

нужно. Так пишут клиенту, у которого конфликт с поставщиком. Варя читает у меня через плечо и фыркает.

– «Забирай что нужно». Мам, поехали, пока он не передумал. Я с тобой.

Мы поднимаемся на девятый этаж на лифте, молча. Квартира пахнет вчерашним праздником, чужим парфюмом и вялыми розами, которые кто-то поставил в вазу. На кухне стоит недопитая чашка, на тумбочке лежат его часы, и я иду по комнатам, как по музею: гостиная с большим диваном, Варина комната, бывшая Данина, где теперь кабинет Глеба, наша спальня с неубранной постелью. Я достаю с антресоли чемодан и складываю то, что могу унести: бельё, джинсы, три свитера, ноутбук с таблицей, паспорт, свидетельство о браке, договор вклада в прозрачной папке. И жестяную коробку из-под датского печенья с маминими рецептами, написанными синей шариковой ручкой на пожелтевших карточках: без неё я не ушла бы, даже если бы дом горел.

– Мам, а ты куда? – Варя ходит за мной по пятам и не отстаёт ни на шаг, как собака, боящаяся, что хозяин уйдёт без неё. – Ты же не насовсем? Ты просто… ну… подышишь у тёти Лары, да?

– К Ларисе, Варюш. Там посмотрим.

Я ничего не оставляю на столе: ни записки, ни ключей, ни кольца, потому что кольца нет, а ключи лежат в сумке, и их у меня никто не просил. Мне кажется, что нужно оставить этой квартире хотя бы строчку, но слов нет, и я просто за-

крываю дверь, повернув ключ два раза, как всегда.

В Стригино мы едем в 17:30. Варя сидит рядом и вертит в руках бахрому палантина, потом вдруг говорит, глядя в окно на проплывающие поля:

– Я не на тебя злюсь. Ну, на тебя тоже. Я злюсь, что ты всегда всё знала про всех, а про себя нет. Понимаешь? Это как будто… как будто ты Бог, а Бог тоже оказался обманутым. – Она шмыгает носом и не оборачивается. – Даня весь вечер сидел рядом с папой и ни разу ко мне не подошёл. Я хотела с ним поговорить, а он так смотрел, как будто я прокажённая. Мам, а он что-то знает, да?

– Не знаю, Варюш. Не хочу гадать. Если знает, то скажет сам.

– А если не скажет?

– Тогда я у него спрошу. Но не сегодня.

Она кивает и после паузы просит так тихо, что я едва слышу:

– Не возвращайся к папе из-за меня, ладно? Если тебе будет хорошо без него. Я вырасту. Я уже выросла. Я просто… ну, мне нужно, чтобы кто-то из вас был нормальным.

В Стригино пахнет кофе и мокрыми зонтами, и у рамки досмотра Варя обнимает меня крепко, как в детстве, когда её увозили в лагерь. Я чувствую запах её волос, всего детского, что в ней осталось, и мне хочется удержать её ещё на минуту.

– Звони мне каждый вечер, мам. Хоть на минуту. Обещаешь?

– Обещаю. Иди, а то опоздаешь.

Я смотрю, как она идёт, высокая, в отцовскую породу, с хвостом, из которого выбилось несколько прядей, и палантином на сгибе локтя, и ни разу не оборачивается, и от этого мне больнее, чем если бы обернулась.

***

Сормово встречает меня дождём и пятым этажом без лифта. Лариса открывает дверь прежде, чем я успеваю позвонить, потому что смотрит в глазок с половины девятого, и сгребает меня в охапку вместе с чемоданом и жестяной коробкой.

– Надька, живая! Ой, да что ж ты такая мокрая, заходи, заходи, а то Бисквит на тебя бросится, он у меня сегодня весь день психует! Мама твоя звонила двенадцать раз, я ей сказала, что ты со мной, что всё нормально, она на последней электричке уехала домой, злая, перепуганная, но живая. Ты есть будешь? Я макароны по-флотски сделала, по твоему рецепту, только у меня фарш подгорел немного!

На кухне уютно и тесно, на подоконнике спит рыжий толстый кот, подложив лапу под морду, а на столе дымится сковородка. Мы едим макароны, обжигаясь, и Лариса ругает Глеба смягчённо и очень изобретательно: чтобы у него все четыре сервиса в один день встали, чтобы запчасти пришли не от того поставщика, чтобы клиенты писали отзывы в три абзаца, – и я вдруг начинаю смеяться, сначала тихо, потом громко, до слёз, и она подхватывает, и мы хохочем над ма-

каронами, как две школьницы, а потом так же внезапно обе замолкаем.

– Спасибо тебе, Лар. Я не знаю, что бы я без тебя.

– Да брось. Ты бы у меня и раньше пожила, дура, надо было сразу прийти. Ложись, я тебе кресло разложила в гостиной, бельё чистое, Бисквит будет спать на ногах, терпи.

Она уходит спать, а я долго стою посреди тёмной комнаты. Потом сажусь на разложенное кресло, достаю из чемодана ноутбук, открываю его на коленях, и экран освещает мне руки. В папке «Нагорная, 14: аренда» всё на месте, три года аккуратных строк. Я открываю таблицу, нахожу строку за десятое сентября, где стоит «30 000 получено от Сазоновых», и в графе «Примечание» медленно печатаю: «Сдавала мужу».

Глава 4. Каждый Новый год

В понедельник я выезжаю из Сормова в половине пятого. Канавинский мост в этот час пуст и мокр, дворники скрипят по стеклу, как тележка в длинном коридоре, а внизу чёрная Ока тянет в себя редкие огни. В багажнике катается чемодан. Вчера я не стала выгружать его у Ларисы, как будто так проще уехать снова, и сейчас он стукается о стенку при каждом повороте.

Зульфия встречает меня в цеху сердитым молчанием и протягивает кружку. За окном ещё темно, и по мокрым стёклам стекают жёлтые полосы фонарей, а тесто на столе дышит под полотенцем, и мне впервые хочется не месить его, а положить на него голову и закрыть глаза.

В 7:30 звонит незнакомый номер, и только по голосу я понимаю, что это Марк: мой телефон ему, видимо, дала диспетчер. После разговора я сохраню его как «сосед с потолком».

– Надежда Сергеевна, доброе утро. Простите за ранний звонок, – говорит он сухо, по-деловому, и мне слышно, как позади него Шуруп гремит миской. – Здесь инженер управляющей компании, он составляет акт о заливе. Собственник трубку не берёт, я набирал ему дважды, а вы, насколько я понимаю, единственный человек в этой истории, кто хотя бы знает, где у вас там краны. Приехать можете?

Я могла бы не ехать: пусть Глеб сам отвечает, раз он собственник. Но у меня перед глазами мокрый потолок и мужчина с тазом над головой, и я слышу собственный голос:

– Приеду. К одиннадцати, если успею.

– Куда ты поедешь? – Зульфия вырастает за моей спиной с противнем в руках и смотрит на меня, как на человека, который собрался перейти дорогу на красный. – Надюш, ты на себя в зеркало смотрела? У тебя глаза как у совы. Ай, да иди, иди уже, всё равно здесь без толку стоишь! Я сама. Хуже, чем сегодня ночью, не будет.

Она выталкивает меня за дверь вместе с курткой, и я иду к машине, потому что хочу хоть что-то в этой истории сделать правильно.

***

В квартире Марка пахнет сыростью. Потолок на кухне висит растянутый, в бурых разводах, Марк уже снял светильник, и из дыры торчат провода. Ламинат в коридоре вздулся горбом, как будто под ним кто-то спит. Инженер Виктор Семёнович Пташкин, в серой жилетке с логотипом управляющей компании, сидит на табурете и пишет акт на колене, и то и дело чихает в сгиб локтя.

– Причина залива: разрыв заливного шланга стиральной машины в квартире двадцать, – диктует он самому себе вслух. – Повреждения: натяжной потолок на кухне растянут, в пятнах. Ламинат в коридоре и на кухне вздут, четырнадцать квадратных метров. Шкаф-пенал разбух. Светиль-

ник… апчхи… неисправен. Наверху, граждане, никто не открывает?

– Я стучал сегодня в семь утра, – отвечает Марк. – Тишина.

– Значит, так и запишем. А вы, женщина, кто будете? – Он поднимает на меня красные от аллергии глаза. – Собственник должен подписывать.

– Я жена собственника, – говорю я, и слова во рту кажутся чужими. – Присутствовала при заливе.

– Ну, жена собственника, тоже сойдёт. Подписывайте, здесь, где «присутствовали».

Я подписываю, и Пташкин уходит, оставив запах валерьянки и ведомственной бумаги. Дверь закрывается, и мы остаёмся в разорённой кухне вдвоём, а Шуруп, выбравшись из ванной, подходит прямо ко мне и кладёт голову на колени, тяжело, как тёплый мешок.

– Он вас выбрал, – констатирует Марк, ставя на плиту чайник. – Это редко случается. Обычно он выбирает того, кто держит колбасу. Гм. Подождите, мне надо вам кое-что отдать.

Он выходит и возвращается с бумажной салфеткой, сложенной аккуратным конвертом, и кладёт её на стол передо мной так осторожно, будто в ней что-то горячее. Я разворачиваю: внутри лежит моё обручальное кольцо.

– Нашёл в коробке, когда резал торт соседям, – объясняет он, не глядя на меня и сосредоточенно разливая кипяток

по чашкам. – Сначала решил, что это бонус к торту, мол, пекарь-кондитер кладёт в изделия добавки. Потом присмотрелся: гравировка внутри, дата. Девятое сентября двухтысячного. Я его в салфетку и… вот.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.